

К. Н.
ЛЕОНТЬЕВ

Сочинения



Константин Леонтьев

Египетский голубь

«Public Domain»

1881

Леонтьев К. Н.

Египетский голубь / К. Н. Леонтьев — «Public Domain», 1881

«Рукопись эту я получил недавно. Автор ее скончался около года тому назад в своем имении. Он поручил одному из своих родственников передать ее мне вместе с другими отрывками из своих воспоминаний. Хотя мы с покойным Ладневым друзьями не были и встретил я его в жизни моей всего два раза, но обе эти встречи были самые благоприятные для сближения...»

Содержание

I	6
II	9
III	13
IV	17
V	23
VI	28
VII	33
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Константин Леонтьев

Египетский голубь

(Рассказ русского)

Рукопись эту я получил недавно. Автор ее скончался около года тому назад в своем имении. Он поручил одному из своих родственников передать ее мне вместе с другими отрывками из своих воспоминаний. Хотя мы с покойным Ладневым друзьями не были и встретил я его в жизни моей всего два раза, но обе эти встречи были самые благоприятные для сближения. Я не стану подробно описывать ни нашего первого знакомства в том самом Константинополе, где начинается его рассказ, ни нашего второго свидания на Дунае. Между этими двумя встречами прошло около десяти лет, и Ладнев за это время совсем изменился: он постарел и стал очень печален.

В письме его родственника, между прочим, сказано вот что: «Покойный незадолго до смерти своей, чувствуя себя нездоровым, однажды отпер ящик своего письменного стола, показал мне эту рукопись и сказал: Когда я умру, пожалуйста, пошли это К. Н. Ему это доставит удовольствие, и напиши, что я даю ему право даже и напечатать этот рассказ. Пусть вспомнит он наши долгие беседы на палубе дунайского парохода, София” и наши прогулки зимними днями по улицам Царьграда”».

Ладнев угадал! Я вспомнил очень многое!..

Быть может, я решусь прибавить еще несколько слов и от себя в заключение рассказа.

I

Когда я жил в Адрианополе, в турецком (восхитительном для меня) квартале, на моем дворе, в углу у высокой и сырой стены было большое персиковое дерево. Оно росло у самого окна моей маленькой гостиной, и на ветках его часто ворковал голубь.

Люди мне сказали, что это не простой голубь, а египетский. И в самом деле, я помню, голубь этот не был синеватый, как обыкновенные голуби, а больше был похож цветом на горлицу. Воркованье его было тоже иное, короткое, густое и с каким-то особым внезапным возгласом, который мне казался исполненным томительной любви и почти болезненной радости.

Солнце поутру вставало с той стороны, где рос под окном персик и где тосковал и радовался, воркуя, мой голубь. Как часто это солнце утром освещало ярким светом мою гостиную, в остальное время дня темную и прохладную! Я входил в нее рано; голубь из-за окошка приветствовал меня своим милым приветствием. Я задерживал занавески, садился на длинный, кругом всей комнаты диван мой, покрытый простою и темною материей, задумывался, глядел на стены и деревянный резной потолок аспидного цвета с белыми бордюрами и клеточками, в которых были нарисованы розы, тоже белые. Сидел я и думал, думал, думал... Никто меня не тревожил и не развлекал. Я сидел и думал, и все ждал чего-то. А голубь мой все ворковал и ворковал, все громче и громче, любовнее и любовнее. Что за счастье, что за мучительное счастье! Что за тоска! Что за ожидание!

Я ожидал, ожидал и дождался! Все это случилось почти в одно время; я влюбился в Машу Антониади и узнал, что и она меня любит, именно тогда, когда Велико, молодой болгарин, бежал из казацкого полка Садык-паши и скрылся у меня в доме. Тогда и персик у высокой стены моей покрылся весь розовыми цветами, потому что настала весна; в то время и я сам стал все лучше и лучше понимать, что воркует, что говорит и пророчит мне мой египетский голубок!

Маша Антониади была очень мила и красива собой. Глаза большие, черные, «бархатные», ласковые, хитрые; и что за цвет лица, золотистый и «теплый»!.. Правда, самое лицо это было немного узко, немного длинно; так по крайней мере говорили многие... Но недостатки в женщинах я всегда любил; мне казалось всегда, что женщина чувствует этот недостаток сама, если даже он и мал; что ей страшно хочется нравиться (точно так, как и мне самому тогда хотелось нравиться) и что ей от этого немного, чуть-чуть больно; я думал об этом, я это чувствовал, даже и не думая, и меня влекло к ней уже потому, что мне становилось ее жалко...

Я смолodu очень любил жалеть... Жалеть было в то время для меня наслаждением...

И хотя Маша была и молода, и очень красива, и богата, и здорова, однако мне при первом же знакомстве пришлось слегка пожалеть ее, не только потому, что у нее лицо было немножко узко: этот недостаток так мало портил ее красоту, что я его долго вовсе и не замечал; но и по другой причине.

Вот как это было. В первый раз мы встретились в Буюк-Дере.

Мы все были у обедни в посольской церкви. Дамы посольские стояли на своих местах, мы на своих. Посланницы не было; тогда только ждали со дня на день нового посла; но на месте посланницы стояла молодая советница, жена поверенного в делах.

Отошла уже половина обедни; растворили царские врата, запели Херувимскую песнь. Все стояли тихо; многие из дам опустили на колени...

Как вдруг она вошла (в белом платье и прекрасных синих лентах). Вошла и не стеснясь нимало, не смущаясь, стала выше советницы, тоже преклонила колени и стала молиться...

Пока пели Херувимскую песнь, пока архимандрит стоял перед алтарем с Дарами, никто не обнаружил ни малейшего недовольства, но как только притворили царские врата, советница оглянулась и на нас, и на других посольских дам и слегка с досадой пожала плечами. Один из

секретарей сделал два-три шага. Он хотел тотчас же сделать вежливое замечание неизвестной даме, нарушившей обычаи нашей посольской церкви; но советница остановила его взглядом и сказала ему тихо: «Потом...»

Мне стало почти страшно за эту бедную, красивую и так хорошо одетую незнакомку... Кто она, я не знал...

Обедня кончилась. Я все следил за интересною дамой и пошел вслед за ней. На крыльце меня обогнал секретарь и, подойдя к незнакомке, начал говорить ей почтительно:

– Я должен извиниться перед вами; у нас в церкви заведен такой порядок, что посторонние лица выше посланника и посланницы и вместе с тем ближе к алтарю, чем служащие при посольстве, становиться не могут... Я прошу тысячу раз извинить меня...

Милая незнакомка покраснела так быстро и так сильно, как только может покраснеть человек...

Я стоял очень близко на лестнице за секретарем... Я поспешил так встать, чтобы видеть лицо молодой женщины, чтобы слышать ее ответ...

Она покраснела очень сильно, это правда (бедная!), но взглянула на нас тихими глазами... Нет! простое слово «глаза» нейдет к прелестному и кроткому взгляду ее черных, больших и бархатных очей!.. Это были именно те черные очи, которые воспевались поэтами в стихах.

Она взглянула так кротко и так томно, и так просто отвечала на самом чистом русском языке.

– Я не знала, виновата. Другой раз я буду становиться сзади. Благодарю вас за то, что вы сказали мне.

Ни гнева, ни смешной обидчивости, ни натянутой гримасы так называемого достоинства. Так просто и естественно!.. Покраснела только. Немножко стыдно, чуть-чуть больно от неожиданности, и такой находчивый в своей простоте и скромности ответ!

Мне показалось, что не я один был этим тронут. Молодой человек, на которого было возложено это щекотливое поручение, по фамилии Блуменфельд, всегда почти дерзкий, капризный и насмешливый, на этот раз рассыпался в извинениях. Выражение лица его стало не только любезно, но в высшей степени добродушно.

– Извините меня, – воскликнул он с ударением на слове меня. – Это порядок дамами заведенный, и мне очень жаль за такой неприятный случай.

Она уходила по дорожке, ответив ему что-то, чего я уже расслышать не мог. Блуменфельд все время не надевал шляпы и кланялся ей слегка, но беспрестанно; наконец он надел шляпу и подал ей руку, которую она приняла. Они скрылись за деревьями.

В эту минуту из коридора вышел на лестницу другой наш товарищ, камер-юнкер, франт и формалист в светском отношении. По службе человек основательный и трудолюбивый, но во всем остальном до невозможности скучный. Хотя с виду мы жили с ним очень мирно, потому что он был характера ровного, серьезного даже и в светских мелочах, и очень обязателен как товарищ, но я его что-то не любил; другой член посольства, очень язвительный, насмешник и выдумщик разных прозвищ, прозвал его (за глаза, разумеется) «вестовым»: это очень было удачно, потому что у него были черты лица очень грубые, лицо красное, белокурые и густые солдатские усы, без бороды. Я где-то видел таких солдат.

Он вышел на лестницу в ту минуту, когда Блуменфельд и милая незнакомка не завернули еще за поворот дорожки. Я оглянулся на него; он поглядел им вслед и равнодушно сказал:

– Я ее знаю; это жена одного здешнего банабака, Антониади.

Что значит банабак, я уже знал тогда. Банабак значит по-турецки: «эй ты! смотри на меня!», т. е. «слушай, я тебя зову!..» Простые люди в Турции беспрестанно кричат друг другу: «эй! банабак!»

Поэтому и сделали из этого особое название банабак: простой, «здесьшний восточный человек»; вроде нашего русского хам, только с менее злым и подлым смыслом... Просто: человек здесьшний... и больше ничего.

– Она не похожа на жену банабака, – сказал я галантерейному и раздушенному вестовому.

– Не похожа, а жена, – отвечал он. – И почему ж не похожа! Что ж в ней особенного... Эти синие ленты у ней, правда, очень хороши (вестовой был тонкий знаток в женской одежде), заметили вы на них тонкие бордюры соломенного цвета? Это очень мило; очень мило. И шляпка хороша. Она, впрочем, воспитывалась в Одессе; из порядочной семьи негоциантов. А он банабак. Впрочем, был долго в Англии... Не пойдете ли и вы вместе завтракать в Бельвю?

– Пойдемте.

Мы спустились вместе с лестницы и встретили Блуменфельда. Проводив так любезно «жену банабака» до ворот, он вернулся с лицом уже недоброе, недовольное и насмешливое, и с первого слова начал передразнивать эту женщину, перед которой он только что так искренно, казалось, рассыпался.

– «Виновата, я другой раз буду становиться сзади...» – говорил он с гримасой и немного картавя (она, правда, немного картавила или, вернее сказать, «пришепетывала», я должен употребить это слово, хоть и ненавижу его; мне кажется оно слишком грубо для Маши и для ее тонкого и едва заметного недостатка).

– Pardon, chère maman! – продолжал Блуменфельд, глядя на меня и на камер-юнкера с насмешливою улыбкой. – Pardon, chère maman... Я буду умница... Ingénue!.., каналья... бестия!.. Молодой человек! (так любил он звать меня, хоть сам был еще года на три моложе меня) а! Молодой человек... Умоляю вас, не влюбитесь в эту бестию... Я уже по глазам вижу, что эта баба шельма, которая вас сделает на всю жизнь несчастным.

– Хорошо, я не буду влюбляться в нее, – отвечал я смеясь. – Да и где же мне ее найти.

– Вы хотите найти... Что вы мне сделаете, даром не скажу вам адреса!

– А! Блуменфельд уж узнал сам... справился там за кустами! – воскликнул камер-юнкер. – Не огорчайтесь (прибавил он, обращаясь ко мне) и не уступайте Блуменфельду ничего, я знаю ее адрес и скажу вам: Grande rue de Pèra. Потом к маленькому Кампу, в первый переулок.

– К швее-то ты не заходи, – перебил Блуменфельд из Гоголя.

– Не зайдет, не зайдет к швее; он прямо к ней, – сказал добрый «вестовой» и продолжал объяснять мне адрес madame Антониади, которого я и не спрашивал, потому что не имел никакого приличного повода сделать ей визит.

– Оставьте, оставьте эту опасную женщину! – воскликнул Блуменфельд. – Не развращайте молодого человека. Пойдемте поскорей есть.

Мы пошли все вместе завтракать в Бельвю; переменили разговор, и о красивой madame Антониади в этот день не было более и речи.

II

Прошло, может быть, с неделю, не помню. В посольстве все скучали; ждали нового посла; опасались перемен по службе; не знали, как уживутся с ним. Несмотря на то, что близилась осень, жара была нестерпимая. Меня задержало в Константинополе одно личное дело, одна «неприятность», одно столкновение с иностранцем, из которого я вышел очень удачно и лестно для моего самолюбия, но за эту удачу все-таки по службе нужно было отвечать «формально»... Переписка с иностранцами тянулась. Мне уже становилось скучно и тяжело быть так долго здесь, в столице, не у дел, жить четыре месяца не то гостем, не то подсудимым за слишком смелое самоуправство, и очень хотелось вернуться скорее в провинцию, к освежающей и деловой борьбе. Я сидел одним жарким полуднем в прекрасном посольском саду, на скамье в тени, и ужасно скучал. Я не могу на словах ни передать, ни изобразить то место, где я сидел, но скажу, что направо от меня был недалеко боковой флигель, где наверху помещалась канцелярия, а под канцелярией, в нижнем этаже проходные ворота; а налево, за деревьями и кустами был скрыт от глаз большой павильон, которого нижний этаж занимал М. Х – в, один из драгоманов посольства. У него была молодая, умная и очень милая жена. И я и с мужем и с нею был дружен и часто бывал у них; дойти до них было легко, но в эту минуту я даже и этого не желал.

Так сидел я очень долго под тенью огромного дерева и все тосковал и скучал, глядя то на синее небо и пышную зелень сада, то на белую каменную ограду, которая прямо передо мной отделяла сад от набережной и Босфора и заслоняла совершенно вид на них. О мадам Антониади у меня и помысла не было никакого. Как вдруг она явилась из проходных ворот; вышла и остановилась. Опять она была хорошо одета; опять мой светский вестовой похвалил бы ее туалет. Я не буду описывать его подробно; боюсь, чтобы надо мной не смеялись, боюсь напомнить «модные» рассказы в «Современнике» покойного Панаева.

Однако, как ни боюсь я этого, мне этот миг ее неожиданного появления в воротах был до того приятен, что мне хотелось бы передать другим все, все до самых пустых мелочей... Да! она опять была одета так мило, так изящно. На ней было в это утро такое хорошее желтоватое батистовое платье, а пояс был черный... очень широкий и длинный; шляпка была совсем кругленькая и низкая, обшитая черным бархатом с двумя перьями из крыльев неизвестной мне птицы: жесткие, рыжие, какие-то вроде орлиных, но с большими белыми горошинками... Она остановилась и огляделась; я встал и поклонился не совсем кстати даже, Потому что никто меня ей не представлял и она меня вовсе не знала...

Несмотря на эту необдуманную и не совсем сообразную с приличиями вежливость мою, она обратилась ко мне очень приветливо и спросила, как пройти к мадам Х., к жене драгомана; я поспешил указать ей на дорожку вдоль стены, и мы, расставаясь, молча поклонились друг другу. Я опять сел на ту же скамью и стал смотреть все на те же прекрасные деревья и кусты, и на ту же белую стену, которая была предо мной так близко. Но эта скучная стена теперь не была уже так безжизненна и пуста ослепительной белизной своей. От меня зависело вызвать из моей собственной души милую тень, прошедшую мимо. И я видел ее перед собою. Я видел взгляд черных глаз, ласковый и кроткий, но с тонким лучом почти неуловимого лукавства. «Что-то умоляющее и доброе...» казалось мне иногда; «что-то страстное и немного коварное», казалось мне в другие минуты...

Я сидел на скамье не просто: поверенный в делах обещал мне прислать за мной в сад своего камердинера, как только он кончит переговоры с толстым и несносным советником той западной нации, с чиновником которой я имел слишком удачное столкновение, до незаконности удачное. Западный советник приехал к нам за окончательным объяснением по тому делу, по которому меня вызвали в Царыград. Он сидел уже давно, и я понимал, что борьба между

двумя дипломатами идет за меня... Но я был довольно покоен. Я давно уже решил, какие уступки я могу сделать по приказанию начальства и каких не сделаю ни за что...

Меня позвали наконец, и я оставил скамью мою вскоре после появления милого призрака в батистовом платье. Наш поверенный в делах видимо был доволен, что переговоры кончились ничем и что сам иностранец предпочитал отложить решение до приезда нашего нового посла и до возвращения из отпуска его собственного начальника.

– Ваше дело ладится, – сказал мне поверенный в делах. – «Неприятель» делает уступки. Надобно и вам быть немного податливее. Я понимаю ваш поступок, но ведь согласитесь, что он неправилен!

– Я, конечно, не искал формальной правильности, поступая так, – отвечал я. – Я нахожу, что по чести русской я поступил правильно, проучив этого негодяя... Я прошу помнить, что он сказал мне (или вернее сказал не мне, а русскому): «извольте выйти вон и чтобы нога ваша не была более на пороге нашей канцелярии...» Разве можно было не ударить его?

– Что эти господа нестерпимы, в этом нет никакого сомнения, – сказал поверенный в делах и отпустил меня.

Я был свободен в эту минуту и пошел тотчас же к той самой русской даме, жене драгомана, к которой мадам Антониади ходила с визитом. Я думал, что я застаю ее там, однако, нет: ее уже там не было. Но я застал там вестового и Блуменфельда. Они оба у Х. бывали очень часто.

Разговор у них шел о посторонних предметах, совсем не о том, что меня интересовало в эту минуту. Дверь из гостиной в нижнем этаже была растворена прямо в сад, и за этою дверью была видна та широкая и чистая дорожка, по которой она, вероятно, только что ушла. Но никто не упоминал об ней ни слова!..

Говорили о том, что надо ждать со дня на день нового посла и об его прежних дипломатических успехах; еще о том, как ловко острит по-французски один русский генерал. Недавно он гулял по набережной, и большая светящаяся муха села на его густую и красивую рыжую бороду. Одна перотка (она сильно румянилась), встретив его, сказала: «*Mon général, vous portez un phare dans votre barbe!*» – «*Pourvu, madame, que je n'en aie pas sur la figure (du fard)*», – отвечал генерал.

Я сам очень любил остроты этого генерала; но теперь я все ждал иной беседы... Потом рассказали, как директор оттоманского банка запретил своей молодой жене знакомиться без его разрешения с новыми неизвестными ему лицами и что она, повинувшись ему, не позволила кому-то представить себе португальского посланника, а когда испанский посланник вызвал за это мужа на дуэль, то директор банка (человек, впрочем, исполненный энергии и храбрости) нашел, что жена его виновата тем, что не умела различить представителя европейской державы от здешних банабаков... и воскликнул даже: «*Ma femme n'est après tout qu'une jeune fille!*» И они помирились.

Я обрадовался этому слову «банабак»... Я думал: вот кто-нибудь из них скажет: «А как вы находите жену банабака Антониади, которая сегодня была у вас с визитом?» Сам я с не совсем уже чистою совестью не хотел спросить об этом. Но никто не упомянул о ней. Так прошло около часа. Вдруг на дорожке против дверей показалась наша молодая, но вовсе не красивая и тихо надменная советница. Она шла не спеша своею спокойною и прекрасною походкой. Хозяйка дома вышла к ней навстречу.

Они поздоровались и пришли вместе. Мы все встретили их на балконе. Советница, ответив нам всем едва заметным движением головы, больше снизу вверх, чем сверху вниз, сказала: «Может быть, кто-нибудь из вас объяснит мне, что такое мадам Антониади? Вот ее карточка. Она была у меня, только мне не хотелось ее принять... Почему она явилась ко мне?..»

Жена драгомана поглядела на визитную карточку и засмеявшись сказала: «Это та самая дама, которую попросили в прошлое воскресенье не становиться впереди всех... Она была сегодня у меня с визитом. Она довольно мила...»

– Все это прекрасно, – возразила советница; – но почему же она делает мне визит...

Жена драгомана, видимо, хотела заступиться за мадам Антониади и сказала:

– Она родом из Одессы, из довольно порядочного дома одесского негоцианта, русская подданная. Путешествовала и жила в Англии... Ну вот приехала сюда, хочет быть принята у нас...

Советница слегка пожала плечами, положила карточку на стол, как будто она до нее не касалась, как будто она не удостоивала даже и принять ее на свой счет, села и переменила разговор. Она просидела довольно долго и, собираясь уходить, подошла к столу, взяла снова карточку, поднесла ее близко к глазам и прочла громко еще раз:

– Madame Antoniadì, tout court...

Потом, обращаясь ко всем нам, спросила еще раз, почти с досадой:

– Я бы желала знать, зачем же эта дама мне сделала визит?

На это ответил Блуменфельд, с пренебрежением, по-русски:

– Наглая бабенка... Ей хочется втереться в посольство...

– Что ж, она из таких дам, которым платят визиты или нет? – спросила опять советница.

– Я думаю, нужно, – сказала жена драгомана. – Впрочем, вот monsieur Несвицкий ее знает, кажется, лучше нас.

– Да, я ее знаю немного, – сказал «вестовой». – Я имел случай ужинать с ней у ***. Она довольно мила, это правда. Но она не светская женщина. Вообразите, на этом ужине она ела в перчатках... Все обратили внимание...

– Ведь в Англии многие, я слышала, делают так, – возразила жена драгомана. – Я не согласна с этим; я нахожу, что она женщина хорошего общества et qu'elle a l'air très distingué...

Несвицкий на это заметил следующее, с значительной и основательной, почти научной точностью:

– Я позволю себе различить понятие «светская женщина» от понятия женщина «distinguée». Она может быть distinguée, мила и все что вам угодно, но я не позволю себе назвать «светскою» женщиной женщину, которая не знает приличий и принятых в свете обычаев. Местные обычаи в Англии не могут везде быть приложимы... Это смешно здесь, где высшее общество вполне космополитического характера...

– Может быть, – отвечала хозяйка дома, – и на этом ученом замечании скучного камер-юнкера разговор о мадам Антониади опять прекратился.

Но сношения моим с Машей Антониади еще не суждено было ограничиться этими двумя встречами.

Мне очень было обидно за нее, и я досадовал на эту сухость советницы, тем более, что считал все это напускным и даже глупым.

Я понимал всегда необходимость общественной иерархии и даже любил ее; но я находил, что человек с умом должен делать исключения; а константинопольское общество к тому же такого смешанного и оригинального состава, что делать эти исключения, мне казалось, здесь было легче, чем где-нибудь. Я очень беспокоился за эту бедную мадам Антониади, с которой мне не пришлось даже и говорить ни разу как следует. Нельзя же было назвать разговором то, что она спросила у меня, как пройти к жене драгомана, что я вывел ее на дорогу и сказал: «Вот здесь, прямо». А она поблагодарила меня и ушла. Несмотря на это, ее миловидность и, как мне казалось, что-то вроде ее беспомощности в нашей посольской среде привлекало меня к ней, и мне хотелось непременно достичь того, чтобы наши дамы отдали ей визиты. Она воспитывалась и выросла в Одессе, говорила по-русски так же чисто, как мы все, молилась усердно в нашей церкви, была, может быть, так рада, по возвращении из Англии и Франции,

видеть столько русских и еще таких порядочных, умных, образованных, хорошего тона... Зачем же ее оскорблять?

С женой первого драгомана мне было бы легко объясниться; она держала себя очень просто; я сказал уже, что с мужем ее и с ней самою я был в дружеских отношениях. Рассуждать и спорить тонко и умно она очень любила... Но у нее были свои недостатки; она была иностранка, и родная сестра ее была замужем в Германии за самым простым, хоть и богатым шляпным фабрикантом. Несмотря на такое неизящное родство, она сама выросла в высшем петербургском обществе и могла бы быть в этих случаях вполне самостоятельной; но она при большой независимости ума была очень непостоянна в своих принципах и вкусах и вообще по характеру как-то не слишком надежна; я знал, что ей гораздо приятнее и легче будет побывать у мадам Антониади после советницы, чем первой показать пример. Поэтому я решился убедить прежде всего советницу. Это было не совсем легко; она, как я уже не раз говорил, была женщина очень тихая и вежливая, но очень недоступная (быть может, и оттого, что лицом была дурна), и несмотря на то, что муж ее любил меня, часто звал к себе обедать и обращался со мной почти по-товарищески, она едва-едва протягивала мне руку и все как будто чего-то опасалась. Однако, если человек чего-нибудь захочет, он выждет случая и воспользуется им.

III

Не более как дня чрез три после нашей встречи с мадам Антониади в саду, я обедал у советника и остался по его приглашению на целый вечер. Мадам Х. пришла запросто после обеда. Скоро совсем стемнело; утихший Босфор был покоен, и на азиатском берегу прямо против нашего балкона светился на каком-то судне пунцовый огонь. Советник с Блуменфельдом и генеральным консулом сели играть в зале в карты, а я остался на балконе один с обеими дамами. Мы все сначала то молчали, то говорили о ничтожных предметах, потому что все трое были задумчивы и всем хотелось смотреть на тихий пролив и на красный огонь. Мадам Х. первая прервала наше задумчивое молчание.

– Вы мечтаете сегодня? – спросила она у советницы.

– Нет, – ответила та, – я не мечтаю; я смотрю на этот красный огонь и вспоминаю другой такой же огонь в Бейруте... Во время этих сирийских ужасов... на такой огонь я смотрела тоже одним вечером... Это ужасно вспоминать... Какая жестокость у людей этих, какое варварство!.. И сама я выучилась такой жестокости... Как я была рада, когда Фуад-паша приехал и начал расстреливать этих начальников!..

– Я думаю! – заметила на это мадам Х., – вы только что приехали тогда в Турцию, и первые впечатления ваши были такие страшные!..

Советница, вообще неразговорчивая, на мое счастье в этот вечер была возбуждена и общительна. Она рассказала, как кто-то (не помню кто; я, должно быть, не слишком внимательно слушал) давал бал в Бейруте незадолго до начала борьбы между друзьями и маронитами, перешедшей в повсеместное избиение христиан. На этот большой бал были приглашены и главные вожди друзов, великолепные воины в оригинальных одеждах. Никто в этот вечер не предвидел, что руки этих красивых людей, которые держали себя на мирном балу с таким простодушным достоинством, так скоро обагрятся кровью... «Один из них (говорила советница) очень наивно заснул на диване, и многие из мужчин ходили любоваться на него... Он спал и ничего не слышал...»

Окончив этот рассказ, советница прибавила:

– Да, когда вспомнишь весь этот страх, этот ужас!.. Вообразите, один из самых богатых негоциантов, француз... он имел какую-то фабрику или что-то в этом роде около Бейрута и у него были три дочери, большие и очень красивые... Этот человек тайно от жены и дочерей подложил под дом свой бочонки с порохом... Понимаете, чтобы взорвать всех их на воздух, если бы друзья или мусульмане напали бы на их жилище. Вообразите, эти несчастные жили столько дней над этим «вулканом», ничего не подозревая!.. И эти ежедневные известия!.. И нельзя бежать!.. Мужу нельзя оставить своей должности, и с моей стороны было бы низко оставить его одного в такие минуты!.. После, когда все это кончилось, мне не раз казалось, что это все неправда, что этого никогда не бывало, не могло быть.

Советница одушевилась и говорила еще долго и все так же хорошо.

Я молчал пока, но тотчас же сообразил, что можно воспользоваться этим предметом разговора на пользу мадам Антониади «tout court». Дамы продолжали рассуждать о варварстве и жестокости. Наконец, выждав время, я сказал:

– Мне хочется по этому поводу сделать несколько очень откровенных замечаний, но мадам Н. (советница) всегда своим спокойствием и недоступностью наводит на меня такой «священный ужас», что я иногда не решаюсь заговорить с ней, как бы не испортить себе карьеру и все дела.

– Escoutez, – возразила она мне на это довольно резко, – какое мне дело да вашей карьеры, согласитесь сами?

– Вот видите, как я прав, – воскликнул я. – Я еще и мнения своего не собрался сказать, а вы уже спешите уничтожить меня... Я ведь не говорил вам, что я прав в моей боязни... Я хотел сказать только, что «священный ужас» мой так велик при взгляде на вас, что я теряюсь и думаю всякий вздор, например, о карьере и т. п.; особенно, когда изредка я сижу так близко от вас, как теперь... Чин у меня не велик еще... знаете...

– Вы очень дурно начинаете... Вы говорите обидные вещи... Эти чины! – прервала меня Елена Х. (она, замечу между прочим, очень была довольна, что муж ее такой еще молодой и уже статский советник).

– Ну да, разумеется, – сказала советница.

Однако я был прав; я заставил ее в первый раз обратить внимание на то, что она уж слишком сухо держит себя не со мною одним, а со многими. (Незадолго пред этим один молодой товарищ наш поднял с полу платок, который она уронила, и хотел ей отдать, но она не взяла из рук в руки, а показала ему движением головы на стол и сказала: «туда».) Мой приступ был уж тем хорош, что немного смягчил и как бы пристыдил ее. После этого я продолжал:

– Разве вы хотите, чтоб я не «трепетал», а был бы откровенен?

Она сказала:

– Смотря по откровенности...

– Моя откровенность будет вот в чем: я нахожу, что есть случаи, в которых и вы, и мадам Х-а обнаруживаете больше жестокости, чем начальники друзей и мусульмане Дамаска. Что ж прикажете: трепетать или не трепетать?

– Не трепещите... Впрочем, вы все притворяетесь... Трепещут совсем иначе... не так, как вы...

– C'est très curieux! – воскликнула мадам Х-а. – Где же это варварство наше?

– Жестокость, жестокость, а не варварство; это разница, – сказал я. – Извольте, вот в чем. Я понимаю, что толпы людей, возбужденные идеей, совершают ужасы во время войны или междоусобий. Я понимаю также вполне вашу радость, когда расстреливали тех, которые ужасам потворствовали или руководили фанатиков... Это война, кровопролитие... Пожар страстей... Но зачем тонкая жестокость в мирное время?.. Зачем эти «общественные обиды». Les variations insolentes de la politesse (это не мое, это слово одного французского публициста)...

– Что такое! Что такое! Какие variations? – воскликнули дамы с любопытством.

– А вот какие... Отчего вы не захотели заплатить визит молодой женщине, русской, которая выросла в Одессе и рада русских видеть; которая очень мила и прилична; а посланницу, леди Б., хромую, скучную, глупую, по-моему, с красным носом, которая похожа на пьяницу-кухарку, вы принимаете почтительно и спешите сами к ней... Это жестокость... и вместе с тем, простите, я не смею сказать...

– Говорите уж все...

– Недостаток вкуса!

– А! – перебила Елена Х., – он влюбился в эту мадам Антониади и жалеет ее. Но если так, то нам нужно платить визиты и жене Боско, нашего portier, чтоб и она была довольна?

– Вы сами знаете, что это не так, – сказал я. – Жена Боско не претендует на это. А если у вас много доброты и мало жестокости, то надо и невинные претензии в других щадить... Разве у нас всех трех нет вовсе претензий?

– У вас их даже много, – заметила советница, только очень добродушным тоном.

Я постарался также придать моему голосу и тону величайшую почтительность, почти молящую, и детскую кротость и сказал:

– Ну, так сделайте на этот раз исключение. Вы так обе поставлены выгодно, что вы этим не унижитесь, потворствуя на этот раз моим претензиям... Прошу вас...

– Что же, вы в самом деле влюблены? – спросила мадам Х-а; а советница сказала ей:

– Послушайте, исполним его желание; только с тем условием, чтоб он вперед хоть немножко «трепетал», а то он именно потому и говорит о «священном ужасе», что он ничего такого не чувствует...

– Согласен, – отвечал я; – я дам вам слово, что несколько месяцев, если угодно, я буду уходить куда-нибудь в дальний угол, как вы только войдете в комнату...

– Хорошо...

– Но это ведь ко мне не относится, – возразила жена первого драгомана. – Это вы его можете ужасать, а я для него нипочем... Он даже бранит меня иногда. Мое условие для визита другое. Я поеду с тем условием, что я при всех, и при Блуменфельде, и при других расскажу, как он влюблен в мадам Антониади...

– Извольте, – согласился я. – Я не боюсь... Все эти молодые люди были когда-нибудь и сами влюблены; и будут еще. Что ж такое!..

Но в самом деле мне это было очень неприятно. Я согласился только для того, чтобы достигнуть цели; но я решился просто упросить после мадам Х., чтоб она этого не делала. А теперь надо было ей уступить...

Разумеется, все это было дело случая. Мадам Антониади была такого рода и такого положения женщина, что они обе могли бы сделать ей визит без моего ходатайства, могли и не сделать... Если бы муж ее был и хуже, но был бы одним из русских подданных, торгующих в Царьграде, русский примат (*un primat russe*), то сделать ей визит раз или два в год было бы, пожалуй, даже обязанностью для наших чиновных дам. Но Антониади имел французский паспорт, и жена его никакого политического значения для посольства иметь не могла, а имела только общественное, которое казалось не достаточно велико... Сама же по себе мадам Антониади была достойна их общества, и главное затруднение, мне казалось, происходило оттого, что советница была сама не в духе в это время. Она надеялась, что муж ее после долгого управления останется тут посланником; назначение нового раздражило ее, и она, предвидя скорый отсюда отъезд свой, была ко всему окружающему равнодушна и не хотела взять на себя ни малейшего труда. Однако она сдержала свое слово. Через несколько дней я опять обедал у них. Она вышла к обеду и, увидав меня в толпе других, назвала меня по имени и, указывая на дальний темный угол, сказала:

– Идите туда... Понимаете?

– Понимаю, – сказал я и покорно пошел в этот угол.

– Что такое? что такое? – спросили все.

– Ничего, – отвечала она. – У нас такой уговор есть... Пари.

– Нам нельзя знать? – спросил муж.

– Можно. Я скажу после. И отвернулась от меня.

Я посидел, разумеется, недолго в углу, встал и хотел выйти на балкон; но она позвала меня и сказала:

– Я исполнила... она в самом деле ничего!.. *Elle est très bien, quoique un peu prétentieuse, un peu gréceuse*... Вы были в углу; теперь остается при всех обнаружить, что вы к ней неравнодушны, но я предоставляю это Елене Х., она собиралась обличить вас...

– Как вам угодно! – сказал я очень сухо, и она, увидав на моем лице досаду и боль, была так добра и деликатна, что за обедом даже ни слова не упомянула о мадам Антониади.

Что касается до Елены Х. (она тоже была у мадам Антониади с визитом в этот же день), то я пошел к ней вечером, поцеловал у ней за это руку и откровенно и убедительно просил ее не «дразнить» меня и не говорить ни при ком об этом.

– Вы разве в самом деле влюблены? – спросила она меня с искренним участием.

– Нет еще, – отвечал я; – но если вы будете так шутить при всех, а потом я сам познакомлюсь и начну в доме бывать, то это ей повредит со временем... вы так добры сами и честны... зачем же вы будете делать зло молодой женщине, которая сама вам понравилась...

– Это правда, – сказала добрая Елена, дала мне слово не шутить этим и тоже сдержала его.

IV

После этого я стал искать случая познакомиться с семейством Антониади. Я мог бы достичь этого легко чрез Блуменфельда, который хотя и бранил их за глаза и смеялся над ними, однако был у них несколько раз, как я узнал от камер-юнкера. Но разве этот человек мог к чему-нибудь подобному отнестись просто? Его-то именно я и не хотел просить ввести меня в этот дом. Во всякий другой, только не в этот!

Было еще и другое затруднение... я был очень дурно одет. У меня был очень хороший новый фрак, в котором я часто обедал в посольстве, но ежедневное мое платье было не хорошо. Почти все мои знакомые и товарищи были такие щеголи, а я ходил по набережной Буюк-Дере в каких-то белых летних сюртуках вроде военных кителей. Не скажу, чтобы меня это слишком огорчало или стесняло, я был спокоен и не стыдился; а сослуживцы мои, надо отдать им эту справедливость, при всем щегольстве своем, связях и богатстве, вели себя со мной совершенно по-товарищески и сами приглашали меня на такие прогулки и сборища, в которых принимали участие и самые знатные, самые чиновные иностранцы. Раз только один из секретарей посольства сделал мне замечание по поводу моего костюма, но такое дружеское, что оно обидеть никак не могло. Он сказал мне с участием и грустью:

– Когда это, милый Владимир Александрович, я увижу вас хорошо одетым. Эти белые штуки ваши мне ужасно надоели!..

– Если они надоели вам, то каково же мне? – отвечал я ему. – Что ж делать!.. Надо иметь терпение. Дайте денег взаймы, я сошью себе платье у Мира.

– Проиграл много, а то бы дал с радостью! – печально сказал на это секретарь...

Однако это замечание принесло свои плоды...

Я стал думать о том, как бы мне устроить это дело и явиться пред милою Антониади; я не говорю чем-нибудь особенным, а хоть таким как все... Нужно было занять. Но где? У кого?

Я стал было просить вперед мое жалованье у нашего казначея Т., добродушного толстого грека-католика. Он иногда давал. Но на мою беду Т. был в то время под самым неблагоприятным для меня впечатлением.

Один из небогатых сослуживцев наших, родом болгарин, незадолго пред этим взял у него вперед жалованье за два месяца, заболел и умер. Толстый Т. топал ногами и с мрачным видом кричал:

– Вообразите, какой фарс разыграл со мной «*ce diable de Stoyanoff*»! Взял деньги и умер! И я теперь плачу казне свои... Я не буду больше никому давать ни копейки.

Что мне было делать? Мера терпения моего истощилась; та внутренняя самоуверенность, та гордость, которая до этой минуты возвышалась над белыми старомодными и странными кителями, начала почему-то слабеть... мне становилось больно, скучно...

Счастливая случайность выручила меня неожиданно. Тоскуя о новом платье, я зашел к Вячеславу Нагибину, молодому чиновнику русского почтового ведомства в Константинополе.

Он был юноша богатый; расчетливый до скупости; по службе аккуратный; маленького роста, свежий и красивый, как куколка; охотник до хороших вещей, до древностей, до восточных ковров, до кипсеков. Я с ним был в хороших отношениях; во время приездов моих в столицу находил всегда пристанище на прекрасном диване его приемной, и даже, признаюсь (я дал себе слово во всем признаваться в этом рассказе), удивлял всех тем, что умел, несмотря на его чрезвычайную расчетливость, занимать у него деньги, лстя ему и подделываясь без особого труда под его археологические вкусы. На этот раз мне опять удалось то же самое и в гораздо больших размерах. Нагибин достал где-то очень редкое иллюстрированное издание «Секретный Помпейский Музей». Я начал объяснять ему, почему эти, по-видимому, бесстыдные изображения помпейских жилищ не производят на человека со вкусом и нравственным

чувством того возмутительного впечатления, которое производят на него цинические картины нашего времени. Я доказывал ему (конечно, не без основания), что сравнительное целомудрие и изящество древнего сладострастия происходило от того, что было освещено как бы косвенными лучами самого религиозного начала, господствовавшего в греко-римской жизни, и потому самые бесстыдные изображения были чужды того цинического юмора и той грязной грубости, с которою приступают ко всему подобному люди нашего времени (и особенно гадкие эти французы) вопреки Христианству...

– Раствлением античного мира, – сказал я, – как будто бы правили благородные демоны Мильтона и Лермонтова; современным развратом правит отвратительный Мефистофель. В нравственном отношении, – прибавил я, – быть может, это и лучше, так как есть умы и сердца, которые, отвращаясь от грязи и цинизма, легко поддаются тонкому обаянию плотской эстетики. Но в отношении искусства – совсем иначе.

Вячеслав Петрович был в восторге от моего объяснения и спросил:

– Отчего вы об этом не напишете?

– Куда мне писать! – отвечал я. – Я мог бы писать в хорошей обстановке, я не хочу быть похожим на газетного скромного труженика... Это очень обидно. А тут денег нет никогда! (Я еще раз сознаюсь, что у меня тогда были большие и самые разнородные претензии.)

– Сколько вам теперь нужно? – спросил Нагибин, – скажите откровенно...

– Рублей двести, – отвечал я, – но вы мне столько раз уже давали; про вас говорят все, что вы скупы на все, кроме ваших этих редкостей...

– Вы тоже редкость! Я и еще вам дам; вы мне те заплатили, – сказал он любезно и пошел доставать из своего бюро деньги, которые я долго, очень долго потом не в силах был ему возвратить.

За эту вину мою Нагибин был одно время на меня основательно сердит; но это случилось гораздо позднее, а в те дни, которые последовали за моим неожиданным и столь удачным займом, Нагибин был доволен мною, а я совершенно счастлив.

Я оделся хорошо, так хорошо, что переход от «белых кителей» был уж слишком резок и бросался всем в глаза.

Товарищи шутили, но так мило и не зло, что их ласковые насмешки не только не оскорбляли меня, но даже усиливали мое удовольствие.

Первый секретарь посольства сообщил мне с улыбкой будто бы все иностранцы спрашивают:

– Кто этот молодой и элегантный консул, который давеча вышел из ворот русского посольства? Кто это? Кто это?

– Непременно консул. Отчего ж не секретарь посольства? – спросил я.

И прибавил:

– Вы верно не находите меня этого звания достойным? Какой-нибудь оттенок?..

– Мы, секретари, люди мирные, люди пера, – отвечал с улыбкой первый секретарь, – а у вас усики так припомажены и подкручены, что всякий примет вас за консула. *Ex ungue leonem!*... Консула люди воинственные; они считают долгом все разносить, чтобы доказать величие русского призвания на Востоке...

Меня это объяснение восхитило своею тонкою ядовитостью... Один из драгоманов (тот самый, который так жаждал видеть меня хорошо одетым) обнял меня и воскликнул:

– Наконец-то моя мечта осуществилась... Молодцом! молодцом... Поздравляю, голубчик... Поздравляю!

Янинский консул Благов, с которым мы были «на ты» и знакомы с детства и который только что приехал в отпуск, хотел сочинить стихи на мое новое платье... (Он писал иногда очень хорошие эпиграммы и сатиры.) Но, по его собственному уверению, было так нестерпимо жарко, что злая муза его дремала и он дальше одного стиха не пошел:

Тому цвету Bismark изумлялся народ...

Замечу, что я по всегдашнему расположению моему подозревать в людях скорее доброе, чем худое, не поверил, что Благов изнемогает от жары, приписал неудачу его стихов высокому чувству самой тонкой доброты; я думал, что он не хочет даже и легкою горечью приятельской насмешки отравить ту почти отроческую радость, которую он мог предполагать во мне... Да я ее и не скрывал!

Самой надменной советнице нашей я сказал:

– Теперь я вас буду меньше бояться!

– Смотрите не ошибитесь, не будет ли хуже? – возразила она довольно благосклонно.

Однако ничего худшего не вышло ни от нее, ни от Других, и мне оставалось только найти случай познакомиться с мужем Антониади. Этот случай представился сам собою раньше, чем я ожидал. Дело было вот как. Мы ждали приезда нового посланника в Буюк-Дере. Два дня продолжалась ужасная буря. Страшно было подумать, как плывет он теперь по Черному морю из Одессы с семьей?... Но в самый день вступления маленькой «Тамани» в Босфор погода разгулялась; пролив стал синий и ровный; все утихло и приняло праздничный вид. Стало так хорошо, что один из сослуживцев наших с завистью воскликнул: «Этому человеку (посланнику) на роду написано счастье! Даже и погода для него разгулялась!»

Поверенный в делах и все чиновники посольства готовились встретить начальника, надели фраки. Было дано уже как-то знать, что «Тамань» вступила в пролив. Я не принадлежал к посольству, не искал присоединиться к этой свите, хотя бы мне никто, конечно, этого бы не запретил.

Не знаю и не помню почему, я предпочел пойти на квартиру того казначея Т., который так сердился на неожиданно умершего болгарина, и смотреть оттуда на въезд и встречу из окна. Т. сам, приглашая меня воспользоваться его окнами, отворенными прямо на прекрасную набережную Буюк-Дере, предупредил меня, что я найду у него гостей.

– Un certain Antoniadhi Chioti.¹ Brave homme quant au fond; mais anglomane comme un sot! – сказал он с мрачной энергией и прибавил подмигивая: – Possédant du reste une femme, une jolie femme, dont vous me donnerez des nouvelles, je veux bien l'espérer! – И притопнув значительно ногой, толстяк надел круглую шляпу и удалился поспешно, потому что поверенный в делах его давно ждал.

Я пошел к нему на квартиру и увидел там этих «гостей».

Была тут одна пожилая, почтенная дама; гречанка тоже и, как сам хозяин, римского исповедания; двоюродная ему сестра; не знаю, почему-то она давно уже носила траур. Я ее знал и прежде, и мне очень нравилась ее приятная и благородная наружность. Седые волосы и бледное лицо; плавная и величавая походка, черная одежда печали и тонкие черты лица, милая моложавая улыбка, несколько лукавая – все это вместе располагало меня к ней, хотя я встречал ее редко и еще реже имел случай с ней говорить.

Она сидела на диване рядом с другою дамой, тоже не молодой.

Эта другая дама была совсем иного рода. Я ее видел в первый раз. Одета она была недурно и сообразно с годами и держала себя очень скромно. И несмотря на все это, в ее наружности было что-то подозрительное, приторное и отталкивающее. Она была очень бела, бледна и несвежа; волосы ее были светлы, как лен, черты лица неправильны и некрасивы; губы тонки, а веки очень красны. Она придавала себе сентиментальный вид. Взглянув на нее, я разом вспомнил о трех очень далеких друг от друга образах – о белом кролике с розовыми глазами, о какой-нибудь несчастной, никем на свете не любимой и некрасивой старой девушке и еще о начальнике султанских не черных, а белых евнухов... мне хотелось поклониться ей и сказать:

– Здравствуйте, m-lle Кызлар-агаси!..

¹ Уроженец острова Хиоса.

Но она была не девица, а вдова из Одессы, приятельница г-жи Антониади, безо всякого определенного общественного положения.

– Madame Игнатович, ваша соотечественница, из Одессы, приятельница madame Антониади, – сказала кузина хозяина, знакомя меня с ней.

И фамилия эта самая, Игнатович, была такая неопределенная, она могла быть и польскою, и сербскою, и малороссийскою, и даже великорусскою, все равно.

Эта женщина возбудила во мне к себе сразу отвращение...

Пред этими двумя дамами, привлекательною и ужасною, сидевшими рядом на диване, качался тихонько на качалке бледный как воск брюнет с густыми и длинными черными бакенбардами и с цилиндром в руке. Это был сам Антониади, – «*Chioté; bon homme, quant au fond...*»

Жена его сидела у окна и, облокотись на подоконник, смотрела на Босфор, за которым зеленел азиатский берег.

Она сидела, одною рукой облокотившись на окно, а другою обнимала дочь свою, девочку лет семи. И в одежде дочери была видна душа изящной матери. Девочка была одета очень мило, в белом кисейном с зелеными горошками платье и в шляпке, украшенной колосьями, васильками и пунцовым маком; но лицом она была нехороша и больше походила на отца, чем на мать.

Кузина хозяина подала мне руку и познакомила меня со всеми.

Когда мадам Антониади обернулась и глаза наши встретились, не знаю почему, я до сих пор не в силах объяснить этого... не знаю почему, сердце мне сказалось что-то особое...

«Она будет любить тебя».

Или: «Она тебе не будет чужою...»

Не знаю хорошо что именно, но что-то особое...

Я сел и начал о чем-то говорить с привлекательною кузиной... О чем мы говорили, не помню; но помню только приятные движения ее головы и ее улыбки, ее одобрения. Я говорил, должно быть, недурно; хотя и не помню о чем, но я знаю, что, обращаясь к ней, я говорил не для нее, а для той, которая сидела у окна.

Мадам Антониади шептала в это время что-то дочери, показывая ей на Босфор.

Кузина хозяина обратилась к ней и спросила: «Вы начинаете свыкаться с нашим Востоком?»

Я еще не слыхал в это утро ее музыкального голоса и ждал, что она скажет; но она сказала очень обыкновенную вещь: «Природа здесь восхитительна; но общество здешнее я недостаточно еще знаю, чтоб об нем судить».

– Здесь не одно общество, а двадцать разных, – отвечала кузина.

В эту минуту раздались пушечные выстрелы... «Тамань» была уже близко...

Мадам Антониади вздрогнула; девочка запрыгала у окошка, спрашивая:

– *C'est le ministre, maman? c'est le ministre?..*

Мы все поспешили к окнам...

Выстрелы раздавались один за другим; стреляли турецкие пушки и с одного русского военного, случайно зашедшего в Босфор...

«Тамань» уже была видна из наших окон... Пред деревянную пристань, против ворот Миссии, качалась лодка, готовая вести весь персонал посольский навстречу послу. «Тамань» остановилась. Выстрелы не умолкали... Чиновники наши толпой во фраках и цилиндрах спешили к пристани вослед за поверенным в делах. Они сели в лодки и поплыли к пароходу.

– *Mon gros cousin est tout essoufflé, je suppose,* – сказала мне с улыбкой мадам Калерджи, кузина хозяина.

– Какой прекрасный, почтенный человек ваш cousin! – заметил ни с того ни с сего г. Антониади с натянутым восторгом.

– Да, он очень добр, – прибавила жена его равнодушно и потом вдруг, обращаясь ко мне, спросила: – отчего вы не участвуете в этой церемонии?

– Я не принадлежу к посольству. Я здесь в гостях, на время. Я только могу быть зрителем.

– Восток вам нравится? – спросила она еще.

– Ужасно, – отвечал я с жаром.

– Что ж вам именно нравится, я бы желала знать? Это очень любопытно...

Я пожал только плечами и ответил, что для меня непонятно, как может Восток не нравиться...

– Вас удивляет, кажется, мой вопрос? – сказала она.

– Да, удивляет, – сказал я. – Здесь все... или почти все хорошо.

– Это не объяснение, – возразила она с милою улыбкой.

Дочь ее перебила нас в эту минуту; она хотела знать: Что теперь будет? – Отчего le ministre не едет сюда? Что он теперь делает?.. Есть ли у него жена и дети?

Мне пришлось с досадой объяснять все этой девочке, так как мать сказала ей, что я все это лучше ее знаю... Я сказал, что у посланника есть жена очень молодая, красивая и богатая, что есть пока еще один только маленький сын и что посланник принимает теперь на пароход поверенного в делах и будущих подчиненных своих, но, вероятно, скоро будет на берег... Я говорил все это терпеливо и вежливым голосом, но глядел на девочку очень сухо и внушительно, чтоб отнять у нее охоту обращаться еще раз ко мне.

Мать заметила эту досаду и, улыбнувшись, сказала дочери по-гречески: «Не надоедай своими вопросами».

Освободившись на минуту от докучного ребенка, я начал так:

– О Востоке надо или говорить много и основательно, или отделяться такими фразами, что природа хороша, что все это очень оригинально, но что общества здесь нет...

Я хотел развить мою мысль дальше, но за спиной моей и очень близко раздался голос вставшего со своего места мужа:

– Вы называете это фразами? Но ведь это истины о Востоке... Почему же вы называете это фразами?

Я не заметил, как он приблизился, и чуть не вздрогнул от этой неприятной неожиданности.

Он, улыбаясь немного, щипал одною рукой свои черные, длинные и смолистые бакенбарды...

Одну секунду от новой и мгновенной досады я не знал, что отвечать, но тотчас же справился с собой и сказал:

– Да, я считаю это фразами, потому что все это говорится без мысли и безо всякого живого, личного чувства. Слышат это друг от друга; вкуса мало; идеалы жизни ложные, какие-то парижские...

– Почему же парижские, – возразил муж. – Люди и сами могут судить. А если жители Парижа делают верные замечания, почему же отвергать истину по предубеждению...

– Что такое истина? – спросил я, как Пилат, не найдя на первую минуту ничего лучшего (мне хотелось отвечать ему дерзко и грубо, хотелось сказать, как сказал недавно еще при целом обществе, очень высоком, один из наших консулов, человек очень горячий по характеру: «Кто ж ездит в Париж теперь? Разве какие-нибудь свиньи?») Но, конечно, я воздержался.)...

– Во всем сомнения? Пирронизм?! – с легким и почти насмешливым поклоном заметил хиосский торговец и, прекращая спор, прибавил, глядя в сторону «Тамани»:

– Вот, кажется, посланник съезжает на берег...

Все глаза (кроме моих) опять устремились на синие и тихие воды прекрасного пролива... Я говорю: кроме моих, потому что в эту минуту чета Антониади интересовала меня больше всего, и эти несколько язвительные возражения мужа, и моя собственная, как мне казалось,

ненаходчивость меня взволновали больше, чем я мог ожидать при первой встрече с людьми незнакомыми, к которым я должен был бы быть совершенно равнодушным...

Но... увы, я уже с первого взгляда вполне равнодушен не был...

V

Я не помню, как и на чем ехал посланник с парохода до пристани, на посольском ли каике или на военном каком-нибудь катере, я не помню, была ли и в это время пушечная пальба или нет. Я не помню даже, глядел ли я в окно в эти минуты или нет. Вероятно, глядел; но был до того равнодушен ко всему церемониалу, что у меня не осталось в памяти никакого впечатления. Я помню только одно, что я был не в духе. «Пирронизм! Пирронизм!» Зачем хиосскому купцу и такому неприятному знать так твердо названия философских систем!..

Посланник приближался к пристани.

– Жена его с ним! жена! – говорила бледная девочка, прыгая у окна.

Старшие все молчали.

Посланник и посланница вышли на берег.

Посланница шла одна впереди. Посланник следовал за нею. Посланница была одета очень скромно, в чем-то сером и в круглой шляпе.

– Она очень молода! – заметила кузина хозяина.

– Но отчего она так бледна? – спросила нежно и жалостно белая дама с красными веками.

– Вчера была буря; она, вероятно, страдала, – сказал Антониади.

– Это ужасно! – воскликнула еще сентиментальнее дама с общеславянской фамилией.

Маленькая дочь Антониади недоумевала.

– Разве она очень хороша? – спросила она про красивую посланницу.

– Ты ничего не понимаешь, Акриві², она красавица, – возразила ей мать. – Ты не воображай, что ты сама хороша. Ты будешь гораздо хуже ее.

– Я знаю, что я не хороша, – прошептала Акриві и спрятала лицо на груди у матери.

Последнее замечание меня обрадовало; маленькая Акриві напоминала отца, такие же тихие черные глаза, покойные, скучные; цвет лица вовсе не такой золотистый, как у матери, а бледно-восковой, как у него... Это строгое замечание матери, по-видимому любящей и ласковой, было не лестно для того, на кого дочь ее была больше похожа... Вот что меня обрадовало немножко, вот что подавало мне хорошее мнение о вкусе мадам Антониади. Я не желал зла ни ей, ни мужу... За что же! Я в первый раз их видел... Я вовсе не желал бы узнать, что они живут между собой дурно и в раздоре. Нужно быть негодяем, чтобы радоваться несчастью чужой семьи... Я всегда чтил семью, и супружеский мир казался мне всегда одним из высших благ земной жизни... Пусть они уважают друг друга! Пусть они живут мирно и дружно, я очень рад... Но что ж мне делать!.. Я хочу быть правдив и откровенен, как на исповеди, в этом рассказе! Что ж мне было делать! Она меня заинтересовала; она мне сразу понравилась, а муж и дочь, его напоминавшая, были мне вовсе не по вкусу... Поэтому в строгом замечании, которое мадам Антониади сделала девочке, я прочел что-то особенное... Какую-то, казалось мне, тонкую преднамеренность... Ведь защитить несомненную красоту посланницы она могла бы и другими словами, не говоря девочке, что она сама вовсе не будет красива. Положим, это полезно – «смирять» ребенка и убивать в нем рано зародыши гордости и тщеславия. Но сама молодая мать показалась мне с первого взгляда, с первых слов расположенною к тщеславию, и едва ли она была наклонна к строгости с этой точки зрения.

Одним словом, мне как-то и почему-то понравилось ее несколько жесткое замечание дочери... Я поспешил взглянуть украдкой в сторону того, на кого дочь была похожа и которого тон в разговоре со мной был мне так не по душе. Он все стоял у другого окна рядом с мадам Калерджи и хладнокровно глядел, как вслед за новым посланником причалила к пристани

² От греч. ακριβής (акривис) – «строгая, точная»

лодка возвращающихся поверенного в делах и всех других членов посольства. Они вышли все и исчезли за воротами.

Когда вся эта небольшая толпа людей в цилиндрических шляпах, во фраках и летних пальто поверх фрака исчезла из глаз, Антониади тихо повернулся на каблуках и, отойдя от окна, сказал спокойно:

– *Finita la comedia!*..

Жена его возразила ему слегка и с очень милым движением головы:

– Почему же комедия? Это слишком резко... Я нахожу, – продолжала она, – что прибытие русского посланника в Константинополь имеет слишком большое политическое значение, чтобы называть все это комедией. Я, напротив того, нахожу, что это все так величественно и вместе с тем так просто.

Она не кончила своей мысли и сделала только и рукою и головой премилое движение.

– Простое всегда величественно, – прошептала белая дама.

В первый раз мне пришлось согласиться не с ней, а с ним.

Я поспешил вмешаться в разговор.

– Нельзя согласиться ни с тем, что это комедия, ни с тем, что это величественно. Это именно очень просто, вот и все. Вот вы спросили у меня, чем мне нравится Восток; теперь я вам объясню это лучше. Восток живописен; Европа в самом дурном смысле проста. Посмотрите на все эти одежды, как штатские, так и военные, на эти цилиндры и кепи... Я не виню никого... За что же? Они все платят дань времени... «*La simplicité*»... Знаете эту скуку, «*la simplicité*»!.. Они вынуждены носить эти уродливые и смешные головные уборы, выдуманные во Франции. Они подчиняются тем убийственным (даже для развития у нас в России пластических искусств убийственным) вкусам, которые господствуют у нас со времен великого голландца Петра, искаживших образ и подобие Божие в русской земле...

– Вы не шутите! ваши выражения сильны, – перебила меня мадам Антониади.

Но я не хотел уже останавливаться.

– Я не только не шучу, я не нахожу слов от обилия мыслей, доказательств и примеров... Я затрудняюсь в выборе... Я понимаю величие вот как: когда Бёкингам представлялся Лудовику XIII и жемчуг нарочно был пришит слегка, но во множестве к его бархатной мантии... и при каждом шаге и поклоне его сыпался на пол, и французские дворяне подбирали его... Или когда польское посольство, не помню при каком султани, въезжало в Константинополь на лошадях, которые все были так слабо подкованы серебром, что эти подковы спадали с копыт... Это величие!..

Или когда я вижу теперь еще здесь на Востоке пеструю толпу этих людей не по-европейски одетых, я признаюсь, что я каждым проявлением души и ума в них невольно больше дорожу, чем несравненно более сильными чувствами и достоинствами, скрытыми под этим гадким сюртуком и сак-пальто... Эти символы падения, эта безобразная мода!.. Это – смерть, это траур!.. Вот мое мнение.

Все слушали меня внимательно. Антониади был серьезен и счел долгом заметить:

– Есть значительная доля правды в ваших словах... Восток еще живописен; это, впрочем, знают все...

При этих последних словах он сделал какой-то знак плечами и головой, как будто хотел дать мне понять, что я говорю не новые, а очень известные вещи.

Уже почти взбешенный, я торопился возразить и начал так:

– Конечно, все путешественники надоели даже, говоря о живописном Востоке. Но дело не в маскарade каком-то, а в том, что европейская цивилизация мало-помалу сбывает все изящное, живописное, поэтическое в музеи и на страницы книг, а в самую жизнь вносит везде прозу, телесное безобразие, однообразие и смерть...

– Это очень смело, – заметила мадам Антониади.

– Mais c'est de la vraie poésie! Monsieur est poète! – томно пропела белая Кызлар-агаси. Меня немножко покорило, и я, обратясь к ней, сказал вежливо, но очень сухо:

– Madame (не знаю, как перевести слово: madame. Положим – «сударыня»)… Сударыня, поэзия всегда истинна… Поэзия – это сама истина, облеченная в плоть.

Антониади молчал, но интересная кузина предложила мне вопрос, который заставил меня на минуту задуматься.

– Неужели вам в Турции все нравится, все без исключения? Это невозможно… – спросила она.

– Ах, да, да! – воскликнула madame Антониади, – вот интересный вопрос… Я жалею, что я сама не догадалась предложить его.

Я сказал, что вопрос этот заставил меня задуматься. Я знал очень хорошо, что именно мне не нравится на Востоке… Мне не нравилась тогда сухость единоверцев наших в любви. Мне ненавистно было отсутствие в их сердечной жизни того романтизма, к которому я дома в России с самого детства привык. С этой и только с одной этой стороны я был «европеец» до крайности. Я обожал все оттенки романтизма: от самого чистого аскетического романтизма Тогенбурга, который довольствовался только тем, что изредка видел, как вдали «ангел красоты отворял окно своей кельи», и до того тонкого и облагороженного обоготворения изящной плоти, которой культом так проникнуты стихи Гёте, Альфреда де Мюссе, Пушкина и Фета.

Ничего подобного я в среде местных христиан не видал и тем более в среде, которую зовут почему-то «интеллигентною»… Скорее у горцев и простых горожан заметны проблески подобной поэзии; но она исчезает бесследно, как только болгарин, грек или серб снимает национальную одежду свою и начинает считать себя «образованным». Утрата бытового стиля и эпической простоты не вознаграждается на Востоке, как нередко вознаграждается она у нас глубиной и тонким благоуханием возвышенных чувств, которыми я дышал под дедовскими липами еще тогда, «когда мне были новы все впечатленья бытия». На место умолкнувшей и милой пастушеской песни не поется у христиан Востока блестящая ария страстной любви… Вот что мне не нравилось в Турции; вот что возмущало меня на Востоке и наводило тоску. Если бы к прелести и пестроте картины окружающих нравов возможно было бы прибавить потрясающую музыку страстных чувств и наслажденья живой и тонкой мысли, то мне казалось, что лучшей жизни нельзя бы было во всем мире найти.

Вот о чем я задумался даже несколько тревожно, когда мне предложили эти дамы весьма естественный вопрос: «Неужели вам здесь все нравится, все без исключения?» Есть и другая сторона жизни, тесно связанная с вопросом о романтизме в сердечных делах: это вопрос о семье… Всякий знает, как отношения между христианскою семьей и сердечным романтизмом многосложны, противоречивы и вместе с тем неразрывны и глубоки. То дополняя друг друга в разнообразной и широкой жизни обществ истинно развитых и возводя семейный идеал до высшей степени чистоты изящества и поэзии, то вступая в раздирающую и трагическую борьбу, как в сердцах несчастной Анны Карениной и благородного Вронского, романтический культ нежных страстей и, быть может, несколько сухой с первого взгляда (я говорю: только с первого взгляда) спиритуализм христианского воздержания проникают духом своим издавна всю историю западных обществ, господствуя даже и в бессознательных сердцах, то в полном согласии, увенчанные благодатью Церкви, то вступая в эту страшную и всем нам так близко, так болезненно знакомую коллизию, в ту коллизию, которой и драма, и поэзия, и роман, и музыка, и живопись обязаны столькими великими и вдохновенными моментами…

На Востоке, у христиан образованного класса я этого ничего не видал… В их сердечной жизни нет ни пафоса, ни музыки, ни грации, ни ума; я встречал у них только две крайности: или сухую нравственность привычки и боязни, или тайный, грубый и бесчестный разврат…

Для меня все это было уже давно ясно; все это было обдуманно давно, подведено в уме моем под те ясные границы, чрез которые, положим, жизнь всегда переступает тонкими оттен-

ками, но без умственного начертания которых невозможно было бы ни мыслить, ни наблюдать, ни даже говорить серьезно с другими людьми.

И вот, пользуясь тем, что для меня все это было уже ясно, что всему были найдены уже в уме моем место и степень заслуги, – я бы мог все объяснить безобидно, толково, может быть, даже и с некоторым блеском, если бы дал себе волю высказать все и если бы остался верен сам себе и своему внутреннему миру. Я бы мог начать чуть не целую диссертацию, занимательную, живописную и правдивую, если бы не заразился несколько от большинства посольских знакомых моих тою сдержанностью речи и тою, иной раз искусственной бедностью мысли, которою они подчас даже щеголяли да!., щеголяли; потому что, наверное, многие из них были умнее и серьезнее, чем казались, и понимали гораздо больше, чем хотели высказывать... Светская осторожность, иногда даже своего рода светское остроумие заставляли их показывать меньше чувства и мысли, чем у них было на самом деле; или, еще точнее выражаясь, у многих из этих дам и кавалеров один род ума, более язвительный или более мелкий, изгонял или заключал в оковы другой род, – род более душевный и серьезный. Серьезность свою мужчины берегли для службы, а дамы для минут некоторого «abandon» с друзьями или с теми, кто им особенно нравился. Все это я так долго и подробно объясняю для того только, чтобы сказать, что я в этот раз поступил ужасно бестактно, чтобы сознаться, как я грубо ошибся, именно тем, что не остался верен себе и не начал длинного рассуждения, которое удовлетворило бы, может быть, до известной степени всех и никого бы не оскорбило! Но я по какому-то роковому движению души вдруг вздумал быть сдержанным и кратким и на повторенный дамами вопрос: «Что ж вы задумались? Что вам на Востоке не нравится, скажите?» ответил с неуместным на этот раз лаконизмом так «Мне ужасно не нравится христианская семья на Востоке».

Сказал эту глупость и замолчал.

– Ah! c'est bien drôle! – воскликнула кузина несколько сухо.

Антониади ровно ничего не сказал, но глаза у него сделались злые. Мадам Антониади с удивлением заметила: «Мне кажется, напротив, если есть что-нибудь очень хорошее на Востоке, так это именно чистота семейной нравственности... Не правда ли?» – спросила она, обращаясь к мужу.

Антониади с чуть заметною улыбкой ответил на пожимая слегка плечами «О вкусах спорить нельзя.»

Я чувствовал, что он мог думать о чем-то несравненно худшем, чем странный вкус, мог счесть меня до невозможности безнравственным человеком, не пустить к себе в дом. Я опомнился, догадался, что начал совсем не с того конца, и поспешил поправиться:

– Позвольте, уговоримся прежде; entendons-nous... Я начну, извините, издалека... Когда я в критской деревне или в Балканах вступаю на глиняный пол греческой или болгарской хижины, то вид этой почтенной, солидной и вместе с тем поэтической семьи...

Я хотел было продолжать так: «Я исполняюсь почти благоговения пред непритворною, наивною чистотой их нравов, пред их религиозным чувством... Вся эта простодушная, высокая святыня домашнего очага, в соединении с своеобразными нравами и прелестью картинного быта, действует на меня почти так же, как действует храм... Я сам становлюсь строго нравственным человеком, и...»

Но судьба решила иначе! Я даже и этого не успел сказать... Я едва успел вспомнить все это; эти образы и воспоминания едва успели мелькнуть в уме моем, как вдруг раздался в прихожей шум шагов и говор нескольких людей. Хозяин квартиры громко кричал слуге своему: «Эй, Кеворк... завтракать! завтракать! Ради Бога, завтракать, мы голодны как собаки!..»

– Кеворк, ах, любезный Кеворк! – раздался голос злого Блуменфельда... – Любезный Кеворк!.. Это правда, что мы голодны. Пожалуста, накормите нас!..

Прием у посланника был кончен, и казначей зазвал к себе еще нескольких человек на завтрак.

Не скрою, я был уже раздосадован, что мне как нарочно не дали кончить мою «диссертацию», полудидактическую, полуоправдательную и, сверх того, я еще был несколько испуган во глубине моего сердца... Я боялся, чтобы которая-нибудь из этих дам не возобновила этого разговора в присутствии наших дипломатов (и особенно при Блуменфельде). Я боялся, чтобы мне не пришлось выбрать одно из двух: или вынести кротко какие-нибудь дерзкие насмешки, или, не уступая ни шага, довести дело до какого-нибудь резкого столкновения, после которого могли бы даже и в Петербурге сказать: «С ним нельзя дела иметь. Он не только оскорбляет чиновных иностранцев; он и со своими доходит до всевозможных крайностей». Но, одушевленный присутствием женщины, которая мне начинала нравиться, я, подумав немного, решился в случае какой-нибудь необходимости предпочесть опасный путь дерзости – постыдному, мне казалось тогда, ресурсу уступчивости и добродушия.

Решившись на это, я успокоился и тотчас же опять повеселел.

VI

Мы слышали только голоса хозяина нашего и Блуменфельда; но кроме их в гостиную вошло еще трое гостей: неизбежный наш Несвицкий, Нагибин, тот самый молодой чиновник почтового русского ведомства в Царьграде, который сшил мне платье, и третий тоже очень еще молодой вице-консул наш в Варне, просто Петров. Вячеслава Нагибина я уже описал в нескольких словах.

Петров был человек совсем другого рода. Он был пламенный панславист; для России охранитель, революционер для Востока, вечно занятый болгарскими или сербскими делами; горячий, стремительный, прямой до неосторожности (это он сказал, при дамах, на обеде, что только свиньи ездят в Париж); со всеми фамильярный, почти без различия звания и чина; нервный, худой и бледный, одетый всегда небрежно, как попало, он, казалось, ничего вокруг себя не замечал и почти не хотел знать, кроме политических интересов и политических дел. Волоса у него были всегда острижены под гребенку и приподняты щеткой; он был постоянно возбужден, постоянно как бы вне себя; говоря, то наступал на собеседника, то отскакивал от него, широко раскрывая глаза низлагая свои любимые мысли бесстрашно, пламенно, часто слишком даже нерасчетливо-прямо; вот каков был Петров.

Турки любили его за доброту и простоту обращения, но постоянно жаловались, что его пармак (палец) везде где не надо, и уверяли, что он чуть не с тарелкой ходит собирать на восстание христиан и т. д.

Петров делал множество ошибок, но зато был незаменим во многих случаях; в среде христиан он был чрезвычайно популярен, и начальство принуждено было многое ему прощать. С течением годов характер его выравнился; он устоялся, достиг высших должностей, и его имя останется навсегда в истории последних дней Оттоманской Империи.

Но в это время над ним много подтрунивали товарищи; он только что поссорился с пашой из-за одной пленной славянки, которая его обманула, по согласию с турками; приехал в Царьград жаловаться и хлопотать об удовлетворении; удовлетворения ему не дали и основательно признали его неправым. Легкомысленные товарищи смеялись над его пылкими и сентиментальными отношениями к «угнетенным братьям-славянам» и сочинили – будто одно из его донесений начиналось так:

«Милостивый государь, Ее имя было Милена! Она была сирота...»

Петров горячился, отбивался, ссорился, но все так прямодушно, честно и просто, что его продолжали любить и уважать.

Все четверо – Блуменфельд, «вестовой», Петров и Вячеслав, вошли в гостиную вслед за хозяином.

Блуменфельд с первых минут уже обнаружил свою придиричивость. Когда хозяин дома представил Вячеслава Нагибина мадам Антониади и ее белой с красным подруге, Блуменфельд не мог оставить в покое молодого человека и тотчас же вслед за хозяином, сказавшим просто: «Monsieur Нагибин!» воскликнул: «известный всем более под именем l'irrésistible boyard russe Wenceslas...»

Скромный боярин ничего на это не возразил.

Потом Блуменфельд обратился ко мне и с видом особенно стремительным сказал:

– А! молодой человек, и вы здесь... Очень рад, очень счастлив...

На это я ничего не ответил, но тотчас же «вооружился» внутренне и сказал себе: «Я сам его первый затрону...» И ждал случая.

Завтрак был оживленный. Хозяин сам ел много, пил и нам всем подливал хорошего вина.

Несвицкий сел около мадам Антониади и очень скучным тоном, как всегда, начал что-то тянуть про встречу нового посланника, про знатное родство и генеалогию его супруги и про то,

кому и как ехать в Порту для исполнения некоторых формальностей; идет теперь спор: первый драгоман посольства говорит, что он едет в Порту и берет с собой первого секретаря; а первый секретарь, на основании точных справок у Мартенса, Валлата, Пинейро-Феррейро и других, доказывал, что в Порту едет он, первый секретарь, и берет с собой первого драгомана.

Я ничего не имел против этих формальностей; но раздушенный «вестовой» умел придать всему, до чего он только ни касался, такую несносную пустоту и скуку, и солдатское лицо его представляло такой неизящный контраст с галантерейным ничтожеством его речей, что не только я, но и сам лукавый простак хозяин наш вдруг прервал его возгласом:

– А! Ба! *Voyons!* Оставим это... все эти дьявольские формальности... Я замечу с моей стороны, что новая посланница прекрасна...

– У нее профиль камеи, – сказала его почтенная кузина.

Хозяин обратился к Блуменфельду:

– А вы, угрюмый человек, оставьте вашу суровость и скажите нам что-нибудь... что-нибудь приятное, любезное, интересное... Как вы умеете, когда вы в духе... Скажите даже что-нибудь злое, если хотите...

Блуменфельд улыбнулся и отвечал:

– Я скажу нечто любезное, а не злое. Ваш армянин делает прекрасные котлеты... Я так ими занят, что не нахожу времени ни для чего другого...

– Кто и что вам больше всего понравилось при сегодняшней встрече? – спросила у Блуменфельда мадам Антониади.

Блуменфельд усмехнулся и сказал:

– Мне больше всего понравилась маленькая китайская собачка...

Все засмеялись.

«Вестовой» поморщился; он был недоволен, что хозяин и Блуменфельд прервали таким вздором его глубокие рассуждения о дипломатических церемониях... Потом спохватился и, принужденно улыбнувшись, начал рассказывать об этой самой собачке.

– Да, эта собака историческая. Когда союзные войска взяли Пекин и Китайский Император, как известно, бежал в Монголию, – во дворце не нашли ни души... Только маленькие собачки бегали по залам и лаяли. Одну из таких собачек...

Но Блуменфельд, насытившись котлетами, уже опять с двусмысленным взглядом и с раздражающе улыбкой взглянул в эту минуту по очереди на меня и на Нагибина.

Я снова готовился защитить боярина Вячеслава или дать отпор за себя, но он почему-то заблагорассудил оставить нас пока в покое; я спрашивал себя, на кого он теперь накинется. Жребий выпал Петрову.

– А! Петров, я забыл вам сказать новость. В канцелярию пришла бумага из Порты: турки требуют белье Милены, которое осталось у вас в чемодане...

Добрый и умный Петров не сконфузился и отвечал очень просто:

– Неужели? Они требуют?.. Ну, что же... Я все доставлю. Там, кажется, лишь несколько платков и два фартука...

– Вы бы хоть один платочек сохранили на память, – сказал Блуменфельд как только мог нежнее.

– На что мне платок, – возразил Петров, – я и так этой истории не забуду; я чрез нее имел столько неприятностей! Разве можно забыть, когда со стороны своих русских ничего не видишь, кроме предательства... Если бы меня поддерживали вовремя, то все бы кончилось хорошо...

– *Je demande une réparation éclatante!* – воскликнул Блуменфельд с комическою важностью.

Петров ничего не отвечал на эту последнюю выходку и, желая, вероятно, переменить разговор, обратился к хозяину с вопросом:

– Я давеча поутру забыл у вас несколько болгарских книжек, связанных вместе... Где они? Мне они очень нужны...

Хозяин указал на окно, где лежала связка... Но Блуменфельд не унимался:

– Отдайте, отдайте их скорее Петрову. Очистите поскорее воздух вашего жилища... «Български читанки»... «Български читанки»... Не правда ли, какой благозвучный язык этих братьев-славян...

Мне захотелось поддержать Петрова; я вмешался и сказал:

– Это правда, что все эти языки, и сербский, и чешский, и даже польский, нам с непривычки кажутся чуть не карикатурами на русский... «Стрелять – пуцать»... «Человек, чилекот»... Конечно, это смешно. Но надо определить все это точнее и отдать себе ясный отчет. Звуки других языков, совершенно нам чуждых по корню... не могут так оскорблять наш слух... например, французский, турецкий или греческий... Хлеб – экмек, псоми, du pain... Здесь мы встречаемся со звуками, совершенно новыми, которые могут показаться странными, но ничего смешного или глупого не могут нам представлять.

Нетерпеливый Петров, которого я вздумал защищать, вдруг перебил, напал на меня и начал обвинять меня в расположении ко всему иностранному, в какой-то «великосветской», как он выразился, причудливости вкусов.

– Это один предрассудок, женский каприз: почему «пуцать» хуже, чем «стрелять» – я не знаю... Это распушенность ума, кокетство, вроде женского!.. – выходил он из себя... расширяя на меня глаза, как будто он хотел перепрыгнуть чрез стол и растерзать меня...

– Постойте, – сказал я, – постойте, дайте мне уяснить мою мысль...

Но в ту минуту, когда Петров обвинял меня в великосветских претензиях и умственном капризе, Блуменфельд, найдя, что я предаюсь педантизму и довожу основательность моего тона до смешного, не дал мне договорить и с лукавым взглядом, наклоняя немного голову набок, произнес насмешливо, не своим голосом, с какою-то особенною грацией, как какая-нибудь плохая дама, растаявшая пред плохим писателем:

– Отчего же вы обо всем этом не напишете диссертации, статьи, этюда, молодой человек... очерка, чтоб это все определить точнее и отдать ясный отчет, если не другим, потому что это невозможно, то хоть самому себе...

Это было слишком! Прошла минута молчания, и я ответил на это так:

– Теперь я занят другим. Я хочу написать что-нибудь о жизни в Буюк-Дере и описать вас... Знаете, как нынче пишут: «Дверь отворилась. Вошел молодой человек высокого роста и с небрежными движениями; лицо его довольно, впрочем, приятное, несмотря на частые улыбочки, выражало какую-то скуку и претензию на разочарование и пренебрежение ко всему... Хотя никто не мог понять, какие он на это имеет права...»

– Это недурно, – заметил Блуменфельд, немного краснея. – А как же вы меня назовете... Пожалуста, не нужно этого немецкого *фельд*. Я хочу русскую фамилию...

Я нашелся:

– Надо, однако, чтобы что-нибудь напоминающее хоть цветы... Блумен... Блумен... Ну, хорошо, я назову вас по-русски Пустоцветов!

Все опять засмеялись, но гораздо неудержимее и громче, чем тогда, когда Блуменфельд сострил про собаку.

Лицо Блуменфельда потемнело от досады, но он, впрочем, вышел из этого очень умно и просто. Он сказал по-товарищески и вовсе не сердито:

– Ах вы! Как вы смеете мне такие вещи говорить... Погодите, я вам после за это задам.

(Я думал, что тем все и кончится, но Блуменфельд после этого долго избегал говорить со мной.)

Я взглянул мельком в сторону мадам Антониади и прочел на лице ее тихое и дружеское одобрение...

Я был вне себя от радости, и мысль, что сердитый Blumenfeld, который был, конечно, не робкого десятка, пришлет мне секунданта, хотя и представилась моему уму тотчас же, но ничуть не смутила меня. У меня в то время было какое-то мистическое (хотя и вовсе, каюсь, не православного происхождения) чувство, что меня хранит для чего-то высокого невидимая и Всемогушая сила... и все будет служить моим выгодам, даже и опасности...

Завтрак кончился, но приятное возбуждение у всех только усилилось после него за чашкой кофе; образовались группы: хозяин, Антониади, Петров и камер-юнкер спорили о будущем Турции и в особенности Босфора. «Боярин Вячеслав» занялся (на мое счастье) девочкой Антониади и показывал ей у стола картинки в кипсеке. Около них пристроился сентиментальный белый евнух в юбке и тоже глядел в кипсек. Я желал, чтоб она подошла и села бы около меня, но не смел надеяться на такую отважность со стороны гречанки или, вернее сказать, жены грека. Однако и эта почти несбыточная и мгновенная мечта моя тотчас же осуществилась.

Blumenfeld «толкнулся» было к ней и что-то спросил у нее, но она, ответив ему очень любезно слова два, отошла и села опять на том же кресле, у того же окна, где сидела перед завтраком. Я забыл сказать, что я нарочно подошел еще прежде к этому самому окну. О чем мы говорили с ней под шум веселых голосов, не знаю.

Я помню свое чувство, веселое, праздничное, победное и мечтательное; я помню ее взгляды... Слов почти не помню... О «любви» мы, конечно, и не говорили... Мы говорили, я помню, о совсем посторонних предметах, быть может, даже о самых сухих... Но беседа наша была похожа на пустое либретто восхитительной оперы, на ничтожные слова прекрасной музыки чувств...

Из слов я помню очень немногие... Я помню только вот что из нашей беседы:

– Вы хвалите Восток, – сказала она, – а я терплю здесь большие умственные лишения. Одесса в России считается торговым городом; однако там университет, библиотеки... там есть умственная жизнь, а здесь этой жизни нет и мне очень скучно...

– На что вам университет... – воскликнул я с удивлением. – На что вам библиотеки... Я бежал ото всего этого и счастлив. Книги хорошие и здесь можно найти... Но вы напрасно думаете, что в местах более, так сказать, ученых больше мыслят... Почитайте газеты наши... Разве это мысль... Думайте сами больше, если это вам приятно...

– Однако! – возразила она робко и почти с удивлением.

Долго ли мы говорили или нет, я, право, не помню. Я помню дивный вид из окна, ветерок с пролива, благоухание ее одежды, ее глаза, шум голосов вокруг и даже крики в спорах... Я слышу и теперь еще всегда влачащуюся речь Несвицкого, который говорил:

– Что касается меня, то я нахожу, что Босфор должен считаться международным портом в самом широком смысле этого выражения. Что мне за дело, если будет принадлежать Босфор грекам, англичанам или никому, – лишь бы развели как можно больше садов, чтобы сделали хорошую мостовую, чтобы была хорошая опера, цирки и публичные лекции... Чтобы можно было, например, слушать популярные чтения физики и химии с опытами... Помните этот милый анекдот про химика Тенара и про герцога Орлеанского? «Теперь эти два газа, кислород и водород, будут иметь честь соединиться в присутствии вашего высочества...»

Эту речь я слышал ясно, потому что при моих антиевропейских культурно-патриотических мнениях она была ударом кинжала в мое сердце, но я и на нее решился не возражать, несмотря на физическую боль, которую мне причиняли подобные мысли русских людей, – до того я был занят ею в эту минуту. Далее ничего не помню из нашей беседы у окна...

Все наконец стали расходиться; ушел и я. Я видел, как супруги Антониади вышли под руку; видел, как они наняли на набережной каяк.

Маша села первая; муж поднял дочь и передал ее жене, потом спустился за ней сам и сел с ней рядом на дне каяка.

Сильный каякчи ударил веслами, и они скоро удалились от берега.

Я долго глядел им вслед, и мне целый день после этого было очень скучно.

VII

И на следующий день мне опять было как будто грустно. Я все думал о ней.

Как познакомиться с нею покороче? сделать или не сделать ей визит? Ни она сама, ни этот ледяной ужасный муж ничего мне не сказали об этом. А между тем я что-то чувствовал, что-то прочел в ее взглядах, в ее недосказанных словах, в ее движениях. Мне казалось, что во всем этом есть нечто большее, чем простое желание видеть меня у себя в доме... Но как она мила и свежа и как он несносен! Как он прилично, опрятно, казенно ужасен! Я видел таких бледных восковых кукол с приделанными черными как смоль бородами.

Я, кажется, уже говорил, что не имел никакой определенной и непременно безнравственной щели. Я заранее готов был отречься от полной победы. Я не стану в этом рассказе ни очернять, ни оправдывать свое давнее прошлое, на что это? Я не стану унижать себя нравственно чрез меру и не стану возноситься. Я не был тогда каким-нибудь невинным, чистым и «духовным» юношей, но не был и во всех случаях безнравственным человеком. У меня были правила личной чести; у меня было великодушие, у меня было желание наслаждаться «поэзией жизни», не причиняя никому страданий и обид, даже, если возможно, не оскорблять и восковую куклу с «приклеенною черною бородой».

Скажу еще проще, я был по природе добр и если б я знал наверное, что мои сношения с мадам Антониади расстроят семейное счастье ее мужа, то я ни за что не пошел бы к ней. Но с другой стороны, мне до того хотелось изящных наслаждений, меня так сильно и почти ежеминутно томили жажда новых впечатлений и какое-то боготворение полуплотской, полумидеальной любви... Мне так вздыхалось часто, так нравились любовные стихи... Я с таким невыразимым восторгом перечитывал и повторял наизусть то Пушкина, то Фета:

Свеж и душист твой роскошный венок...

Вот что мне было нужно, вот чего я искал, вот о чем думал в свободные от дел часы! В Маше Антониади было именно то, что мне было нужно. В ней было нечто такое, что меня томило; в ней как будто таилось что-то изящно-растлевающее, нечто тонко и сдержанно безнравственное, нечто едкое и душистое, доброе и лукавое, тщеславно милое, — одним словом, что-то такое, что заставляло меня глубоко «вздыхать», вздыхать счастливо, вздыхать от той сладкой сосредоточенности, которая теснит грудь и открывает пред влюбленную мысль бесконечные и восхитительные, в самой неясности своей, перспективы...

Так вздыхал я в этот день, бродя по набережной Буюк-Дере. В этот час еще не играла тут музыка и не начиналось ежедневное «европейское» гулянье, которое я терпеть не мог, не находя в нем ни личного интереса, ни той живописной и этнографической, так сказать, прелести, которая восхищала меня в истинно народных скопищах Востока. Круговая пляска болгарских мужиков под резкую музыку волынки или толпа задумчивых и пестрых турок, провожающих мертвое тело какого-нибудь собрата своего на кладбище, где многие сотни белых мраморных столбов, увенчанных чалмами, теснятся, как привидения, в густой и безмолвной роще исполинских кипарисов, — казались мне гораздо благороднее и многозначительнее этого «европейского» снования цилиндров и жакеток туда и сюда, взад и вперед по одному и тому же направлению, под звуки вальсов, пустых кадрилей и слишком уже знакомых оперных отрывков, напоминавших мне ненавистный и тошный Петербург, из которого я бежал в Турцию, чтобы хоть здесь скрыться от этого наносного и одуряющего «прогресса».

И вот я ходил по пустой набережной и «вздыхал». Воздух был жаркий и тяжелый; ветер дул с юга, и синие волны Босфора пенились и кипели. Я не знал, что мне делать с бездельем своим, как вдруг из переулка вышла моя седая и столь уважаемая мною мадам Калерджи. Она шла к кому-то с визитом; она шла своею удивительно красивою и благородною поступью, на которую я всегда так любовался. Она издали первая поклонилась мне с приветливою улыбкой.

Я счел ее в эту минуту посланницей небес: она лучше всякого другого могла разрешить мои сомнения насчет того, делать ли мне визит супругам Антониади или нет?

Я подошел к ней и, еще раз почтительно поклонившись, предложил ей руку.

Она сказала мне, куда ее вести, и, к счастью, я услышал, что расстояние будет настолько велико, что мне можно будет объясниться с нею.

Опершись на руку мою, эта милая женщина обратилась ко мне с самым ласковым, дружелюбно-насмешливым выражением лица и сказала коротко и выразительно: «Seul, avec sa pensée!»

– Да, – отвечал я ей, – вы угадали: seul, avec une pensée... С одною мыслью, с одним тяжелым сомнением, которое вы, именно вы лучше всякого другого человека можете разрешить.

– Что такое? Боже мой, что такое? – спросила она с притворным и веселым страхом.

– Вот беспокоюсь, колеблюсь и т. д., делать ли мне визит супругам Антониади или нет?..

Они мне ни слова не сказали, ни тот, ни другой; но ведь нас познакомили, и она была довольно внимательна ко мне; а он?.. ну, он был только вежлив; впрочем, я заметил на завтраке, что он со всеми таков.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.